

Дневник провинциала в Петербурге

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-053.2
ББК 84-4
Д54

Д54 Дневник провинциала в Петербурге / – М.: Книга по Требованию, 2024. –
300 с.

ISBN 978-5-519-84501-4

ISBN 978-5-519-84501-4

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2024

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2024

Эта книга является репринтом оригинала, который мы создали специально для Вас, используя запатентованные технологии производства репринтных книг и печати по требованию.

Сначала мы отсканировали каждую страницу оригинала этой редкой книги на профессиональном оборудовании. Затем с помощью специально разработанных программ мы произвели очистку изображения от пятен, клякс, перегибов и попытались отбелить и выровнять каждую страницу книги. К сожалению, некоторые страницы нельзя вернуть в изначальное состояние, и если их было трудно читать в оригинале, то даже при цифровой реставрации их невозможно улучшить.

Разумеется, автоматизированная программная обработка репринтных книг – не самое лучшее решение для восстановления текста в его первозданном виде, однако, наша цель – вернуть читателю точную копию книги, которой может быть несколько веков.

Поэтому мы предупреждаем о возможных погрешностях восстановленного репринтного издания. В издании могут отсутствовать одна или несколько страниц текста, могут встретиться невыводимые пятна и кляксы, надписи на полях или подчеркивания в тексте, нечитаемые фрагменты текста или загибы страниц. Покупать или не покупать подобные издания – решать Вам, мы же делаем все возможное, чтобы редкие и ценные книги, еще недавно утраченные и несправедливо забытые, вновь стали доступными для всех читателей.



Серия Книжный Ренессанс

www.samizday.ru/reprint

I.

Я въ Петербургѣ.

Зачѣмъ я въ Петербургѣ? по какому случаю?—этого вопроса, по врожденной провинціаламъ неосмотрительности, я ни разу не задалъ себѣ, покидая нашъ постылый губернской городъ. Мы, провинціалы, устремляемся въ Петербургъ какъ-то инстинктивно. Сидимъ-сидимъ — и вдругъ тронемся. Губернаторъ сидитъ и вдругъ надумается: толкнусь-моль, нѣтъ-ли чего подходящаго! Провуроръ сидитъ — и тоже надумается: толкнусь-ка, нѣтъ-ли чего подходящаго! Партикулярный человѣкъ сидитъ — и вдругъ словно озаренный, начинаетъ укладываться... „Вы въ Петербургъ ѣдете?—Въ Петербургъ!“—Этимъ все сказано. Какъ будто Петербургъ самъ собою, однимъ своимъ именемъ, своими улицами, туманомъ и слякотью долженъ что-то разрѣшить, на что-то пролить свѣтъ. Что разрѣшить? на что пролить свѣтъ?—этого ни одинъ провинціалъ никогда не пробуетъ себѣ уяснить, а просто-на-просто, съ бессознательною увѣренностью твердитъ себѣ: вотъ ужѣ, съѣзжу въ Петербургъ, и тогда... Что тогда?

Какъ бы то ни было, вопросъ: зачѣмъ я ѣду въ Петербургъ? возникъ для меня совершенно неожиданно, возникъ спустя нѣсколько минутъ послѣ того, какъ я уѣхалъ въ вагонъ Николаевской желѣзной дороги.

Въ этомъ вагонѣ сидѣла *губернія*, сидѣло все то, отъ чего я бѣжалъ, отъ лицемерія чего стремился отдохнуть. Тутъ были: и Петръ Ивановичъ, и Тертій Семенычъ, и самъ представитель „высшаго въ имперіи сословія“, Александръ Прокофѣичъ (онъ же „Проконъ Ляпуновъ“) съ супругой, на лицѣ которой читается только одна мысль: „Alexandre! у тебя опять галстухъ на бока съѣхалъ!“ Это была ужаснѣйшая для меня минута. Всѣ они были на лицо съ своими жирными затылками, съ своими клинообразными кадыками, въ фуражкахъ съ красными околышами и

съ кокардой надъ козырькомъ. Всѣ притворялись, что у нихъ есть нѣчто въ карманѣ, и ни одинъ даже не пытался притвориться, что у него есть нѣчто въ головѣ. Повидимому, это послѣднее обстоятельство для нихъ самихъ составляло дѣло рѣшительное, потому что смотрѣть на мѣръ такими осовѣлыми глазами, какими смотрѣли они, могутъ только люди или совершенно эманципированные отъ давленія мысли, или люди совсѣмъ наглые. А такъ-какъ моихъ спутниковъ нельзя же назвать вполне наглыми людьми, то, очевидно, что они принадлежать къ числу вполне свободныхъ. На меня эти красные околыши произвели какое-то болѣзненное впечатлѣніе. Мнѣ показалось, что я опять въ нашемъ рязанско-курско-тамбовско-воронежско-саратовскомъ клубѣ, окруженный сѣятелями, дѣятелями, и всѣхъ сортовъ шлющимися и непомнящими родства людьми...

Разумѣется, обрадовались. Но въ этихъ привѣтственныхъ возгласахъ мнѣ слышалось что-то обидное. Какъ будто привѣтствуя меня, они въ одинъ голосъ говорили: а вотъ и еще нашего стада скотина пришла! Не потому ли эта встрѣча до такой степени уязвила меня, что я никогда такъ отчетливо, какъ въ эту минуту, не сознавалъ, что вѣдь я и самъ такой же шлющійся и незнающій куда приткнуть голову человѣкъ, какъ и они? Кайдановъ удостовѣряетъ, что древніе авгуры не могли удерживаться отъ смѣха, встрѣчаясь другъ съ другомъ. Быть можетъ, на первыхъ порахъ, оно такъ и было; но впослѣдствіи, когда интересъ новизны исчезъ, эти встрѣчи должны были возбуждать не смѣхъ, а взаимное озлобленіе. Скажите, можно ли безъ злобы ежеминутно встрѣчаться съ человѣкомъ, котораго видишь насквозь, со всѣмъ его нутромъ! Помилуйте! да отъ этого человѣка за тридевять земель бѣжать надобно, а не то что улыбаться ему!

Легко сказать, бѣжать! Вы бѣжите — а онъ за вами! Онъ, этотъ земскій авгуръ, населяетъ теперь всѣ вагоны, всѣ гостиницы! Онъ ораторствуетъ въ клубахъ и ресторанахъ; онъ проникаетъ въ педагогическія, экономическія, сельско-хозяйственныя и инныя собранія и даже защищаетъ тамъ какіе-то рефераты. Онъ желанный гость у Елисеева, Эрбера и Одинцова; онъ смотритъ Патти, Паску, Лукку, Шнейдеръ. Словомъ, онъ вездѣ. Это какой-то неугомонный духъ, отъ вездѣсущія котораго не упасть выигдѣ...

По обыкновенію, какъ только размѣстились въ вагонахъ, такъ тотчасъ же начался обмѣнъ мыслей.

— Въ Петербургъ? спрашиваетъ Проконъ Петра Ивановича.

— Въ Петербургъ.

— Зачѣмъ, смѣю спросить?

— Да такъ... насчетъ концессіи одной... А вы?
 — Я, признаться, тоже... отъ земства.. А вы, Тертіи Семеновъ?
 — Да я... какъ бы вамъ сказать... вѣдь и я тоже на счетъ концессіи!

Наконецъ, вопросъ обращается и ко мнѣ:

— Въ Петербургъ-съ?

Тутъ-то вотъ именно и представился мнѣ вопросъ: зачѣмъ я въ самомъ дѣлѣ ѣду въ Петербургъ? и какимъ образомъ сдѣлалось, что я, убѣгая изъ губерніи, и находясь несомнѣнно за предѣлами ея, въ вагонѣ все-таки очутился въ самомъ сердцѣ оной? И мнѣ сдѣлалось такъ совѣстно и конфузно, что я совершенно неосновательно отвѣтилъ Прокопу:

— Да тамъ... тоже маленькая концессія...

Тогда начались проекты самыхъ фантастическихъ концессій. Изъ Пензы въ Наровчатъ, захвативъ на дорогѣ Мокшанъ и Инсаръ; изъ Рязани въ Михайловъ, а тамъ въ Каширу, въ Алексинъ, въ Бѣлевъ, въ Медынь и т. д. Слышались фразы: вотъ бы! вотъ кабы! ну ужъ тогда бы! и проч. Но меня такъ всецѣло поглотила мысль, зачѣмъ я-то собственно собрался въ Петербургъ, я, который не имѣлъ въ виду ни получить концессію, ни защитить педагогическій или сельскохозяйственный рефератъ,—что даже не замѣтилъ, какъ мы проѣхали Тверь, Бологово, Любань. Съ этою же мыслью я очутился утромъ на дебаркадерѣ Николаевской желѣзной дороги.

Но здѣсь случилось что-то неслыханное. Оказалось, что всѣ мы, то-есть вся губернія, останавливаемся въ Grand Hôtel... Уклониться отъ совмѣстнаго жительства не было возможности. Еще въ Колпинѣ начались возгласы: „да остановимтесь, господа, всѣ вмѣстѣ!“, „вмѣстѣ, господа, веселѣе!“, „стыдно землякамъ въ разныхъ мѣстахъ останавливаться!“ и т. д. Нужно было имѣть твердость Муція Сцеволы, чтобы устоять противъ такихъ зазываній. Разумѣется, я не устоялъ.

Но зато и наказана же была моя душевная рыхлость!

Вотъ буквально тѣ впечатлѣнія, которыя въ теченіе первыхъ двухъ недѣль я испытывалъ въ Петербургѣ изо дня въ день.

Каждое утро, покуда я потягиваюсь и пью свой кофе, три стука раздаются въ дверь моего номера. Раньше всѣхъ стучитъ Прокопъ.

— Ну, что! какъ концессія? заполучили? обращается онъ ко мнѣ своимъ обычнымъ лающимъ голосомъ.

— Нѣтъ еще... да и не знаю...

— Тутъ, батюшка, зѣвать некогда! Какъ разъ изъ-подъ носа стибрать!

Черезъ полчаса опять стукъ: стучитъ Тертій Семенычъ.

— Ну, что! заполучили?

— Не знаю, какъ бы сказать...

— Что-жь вы мямлите-то! что мямлите! вѣдь этакъ какъ разъ изъ-подъ носа утащатъ!

Проходитъ четверть часа: стукъ, стукъ! Идетъ мимо Петръ Ивановичъ.

— Что! какъ концессія?

Мнѣ дѣлается уже весело. Я самъ начинаю вѣрить, что прѣхалъ за концессіей, и что есть какая-то линія между Сапожкомъ и Касимовымъ, которую мнѣ совершенно необходимо заполнить.

— Да что, батюшка! говорю я: — это концессія... шутъ ее знаетъ!

— Что вы зѣваете-то! что зѣваете! Прокопъ вотъ всѣ переднія ужъ объѣздилъ, а вы! Хотите, я вамъ скажу одну вещь!

— Ахъ! сдѣлайте милость!

— Тамъ полковникъ одинъ есть... Просто даже и вѣдомства-то совсѣмъ не того, отставной... Такъ вотъ покуда мы стоимъ этакъ въ пріемной, проходитъ мимо насъ этотъ полковникъ прямо въ кабинетъ... Потомъ, черезъ четверть часа, опять этотъ полковникъ изъ кабинета проходитъ, и только глазомъ мигнетъ!

— Ну, и что-жь?

— Ну, тутъ его и лови!

Затѣмъ, „губернія“ часа на два, на три исчезаетъ. Но не успѣлъ я одѣться (бѣеъ два часа), какъ опять стукъ въ дверь. Влетаетъ Прокопъ.

— Развѣ такъ дѣлаютъ дѣла? накидывается онъ на меня. — Вы вотъ потягиваетесь тутъ, а я ужъ во всѣхъ трехъ министерствахъ былъ!

— Александръ Прокофьевичъ! Неужто?

— Да-съ, былъ-съ. Только ужъ и ходьба!

— А что?

— Да вотъ, посчитайте-ка сами ступеньки отъ перваго этажа до четвертаго, тогда увидите!

— А результатъ?

— Да какъ сказать? — покуда еще никакого! Вѣдь здѣсь, батюшка, не губернія! чтобы слово-то ему сказать, чтобы глазкомъ-то его увидѣть, надо съ мѣсяцъ мѣста побѣгать! Здѣсь вѣдь всѣ дѣла дѣлаются такъ!

— Однако, это непріятно!

— А вамъ все чтобъ было „пріятно“! Вамъ бы вотъ чтобъ

Обадеи и носки вамъ на ноги надѣль, и сапоги бы натянулъ, а изъ этого чтобъ концессія вышла! Нѣтъ, сударь, пріятности-то тогда пойдутъ, когда вотъ линійку заполучимъ, а теперь не до пріятностей! Здѣсь, батюшка, и всѣ такъ живутъ!

Прокопъ подходитъ къ окну, видитъ бѣгущаго по улицѣ мазурика, и воображеніе рисуетъ передъ нимъ цѣлую картину.

— Смотрите! восклицаетъ онъ: — вонъ онъ, высуня языкъ бѣгаетъ! Вы думаете, онъ дѣло дѣлаетъ! Пустяки, сударь! пустяки онъ дѣлаетъ! День-то деньской онъ пробѣгаетъ, вечеромъ прибѣжить домой: что я сдѣлалъ? — Иной даже заплачетъ! Ничего, ну просто-на-просто ничего! А тамъ пройдетъ и еще день и еще, и еще... И все-то такъ! и всякій-то день ничего! А черезъ мѣсяцъ, смотришь, что-нибудь у него и сформируется! Какъ сформируется? почему сформируется? — ничего неизвѣстно! Тамъ бросилъ словечко, тамъ глазкомъ глянулъ, туда забѣжалъ, тамъ съ швейцаромъ покалякалъ — на видъ оно пустяки, ань смотришь, въ результатѣ оно самое и есть!

Снова стукъ. Петръ Ивановичъ влетаетъ прямо въ соболяхъ. Щеки у него горятъ, кадыкъ застылъ отъ мороза, усы влажны.

— Ну, кажется, идетъ дѣло на ладъ! говорить онъ весело.

— Рѣшена? спрашиваетъ Прокопъ, и въ глазахъ его появляется какой-то блудящій огонь, котораго я прежде не примѣчалъ.

— Рѣшена!

— Ну, а моя еще нѣтъ!

— Теперь только бы въ самую середку-то угодить!

— Да, это тоже штука. Одно средство: къ тузу какому-нибудь примазаться! Ужъ чортъ его душу дери... ѣшь половину!

Еще стукъ. Влетаетъ Терентій Семенычъ и падаетъ въ изнеможеніи въ кресло.

— Усталъ, говорить онъ: — былъ вездѣ! И у Бубновина былъ, и у Мерзавскаго былъ, и у сына Сирахова былъ!

— Ну, и что же!

— Всѣ въ одинъ голосъ: полезнѣйшее предпріятіе!

— Смотри, какъ бы тебя съ „полезнѣйшимъ-то предпріятіемъ“ не продернули! вѣдь это тоже народъ теплый!

— Меня-то! у меня линія вѣрная! Отъ Корочи черезъ Тимъ, Щигры, да такъ-таки прямо въ Ливны. А тамъ у меня кстати и имѣніе есть.

— Да ты что возить-то по этой линіи будешь?

— Ужъ это наше дѣло!

— Нѣтъ, ты скажи!

— А позвольте узнать, Александръ Прокофѣичъ, что вы-то по вашей линіи возить будете?

— Это отъ Изюма-то, черезъ Купянку, Валуйки да въ Остро-гожскъ? Да тутъ, батюшка, хлѣба одного столько, что ахнешь! Опять: конопель, пенька, масло, скоть, кожи! Да ты пойми: вѣдь въ Изюмѣ-то окружный судъ! Члены суда будутъ ѣздить! судебные слѣдователи! судебные пристава! Твое же острогожское имѣніе описывать пойдутъ!

Между тѣмъ, Петръ Ивановичъ безпокойно поглядываетъ на часы, и вдругъ вскакиваетъ:

— Однако пора бѣжать!

И всѣ трое, обращаясь ко мнѣ, разомъ восклицаютъ.

— Вы развѣ не пойдете устрицы ѣсть?

— Не знаю... Я какъ-то еще не думалъ объ этомъ.

— Ну, какимъ-же образомъ послѣ того вы концессию получить хотите! Гдѣ же вы съ настоящими дѣльцами встрѣтитесь, какъ не у Елисеева или у Эрбера? Вѣдь тамъ всѣ! Всѣхъ тамъ увидите!

— Да вѣдь я... право, и дорога-то у меня плохая, кажется! Ну, что я въ самомъ дѣлѣ, возить по ней буду!

— А вамъ-то что? Это что еще за тандрессы такіе! Вонъ Петръ Ивановичъ снѣтокъ бѣлозерскій хочетъ возить... а сооруженія-то, батюшка, затѣваетъ какія! Черезъ Чегодошу мостъ въ двѣ версты — разъ: черезъ Тихвинку мостъ въ три версты (тутъ грузы захватитъ)—два! Черезъ Волховъ мостъ — три! По горамъ, по доламъ, по болотамъ, по лѣсамъ! Во болотахъ морощку захватить, въ лѣсу—рябчика! За то въ Питерѣ настоящій снѣтокъ будетъ! Не псковскій какой-нибудь, а настоящій бѣлозерскій! Вкусъ-то въ немъ какой — ха! ха!

— Смѣйтесь! Смѣйтесь! а вотъ какъ заполучу дорожку, тогда будетъ... хи! хи!

— Мы, батюшка, нынче всю эту статистику до тла раз-узнали! Гдѣ что родится, гдѣ какое производство идетъ! Гдѣ мамура—ягода, гдѣ княженика—ягода! Гдѣ сырть—рыба, гдѣ сельдь, гдѣ снѣтокъ! Гдѣ мыло варятъ, гдѣ кожи дубятъ! Разношникъ кричитъ: сельди переславскія!—а мы примѣчаемъ!

Дѣлать нечего, отправляемся вчетверомъ на биржу къ Елисееву.

Устричная зала полна. Губернія преобладаетъ. Кадыки, кадыки, кадыки; затылки, затылки. На столахъ валяются фуражки съ красными околышами и кокардами. Тамъ и сямъ мелькаютъ какія-то оливковыя личности, не то греки, не то евреи, не то армяне, словомъ, какіе-то иконописные люди, которымъ удалось сбѣжать съ кипарисной доски и отгуляться

на волѣ у Дюссо и у Бореля. Они жирны, словно скоть откормленный бардою. Личности эти составляютъ центры, около которыхъ образуются группы кадывовъ. Но самый главный центръ представляетъ какой-то необыкновенно жирный и, повидимому, не очень умный человѣкъ, который сидитъ на диванѣ у средней стѣны и на груди у котораго отдыхаетъ тяжелая золотая цѣпь, обремененная драгоценными желѣзнодорожными жетонами. Онъ ужъ поѣлъ и, сложивъ на груди руки и зажмуривъ глаза, придается пищеваренію. Повременамъ, пройдетъ мимо него кадывъ, скажетъ: Анемподисту Тимофеичу! — тогда онъ отдѣлится отъ туловища одну изъ рукъ и вложитъ ее въ протянутую руку кадыва. Хотя этотъ человѣкъ сидитъ за своимъ столомъ одиноко, но что не кто другой, а именно онъ составляетъ настоящій центръ компаніи—въ этомъ нельзя усомниться. Кадывки, очевидно, ни на минуту не теряютъ его изъ вида. Они и сидятъ за своими столами какъ-то не прямо, а въ пологорота къ нему, и говорятъ другъ съ другомъ словно не другъ съ другомъ, а обращаясь къ третьему лицу, которое нельзя безпокоить прямо, но безъ мѣшанія котораго обойтись невозможно.

Проходя мимо него, Прокопъ толкаетъ меня въ бокъ и шепчетъ какимъ-то испуганнымъ голосомъ:

— Бубновинъ!

Въ залѣ сыро, наслякощено, накурено. Слово туманъ стоитъ. Но кадывки не гогочутъ, по своему обычаю, а какъ-то сдержанно бесѣдуютъ, заискиваютъ.

— Аристиду Ѳемистоклычу! восклицаетъ Прокопъ, расцвѣтая при видѣ одного изъ византійскихъ изображеній, котораго наругность напоминаетъ паука, только что проглотившаго муху:— какъ поживаете? каково прижимаете?

— Ницево! живемъ!

— Дѣвочки какъ?

— И дѣвочки!.. у насъ дѣвоцекъ завсегда бываетъ оцень достаточно!

— Ну, и слава Богу!

Мы садимся за особый столъ; приносятъ громадное блюдо, устланное устрицами. Но завистливые глаза Прокопа уже прозрѣваютъ въ будущемъ и усматриваютъ тамъ потребность въ новомъ такомъ же блюдѣ.

— Вели еще десятка четыре вскрыты! командуетъ онъ:— да надо бы и на счетъ вина распорядиться... Аристидъ Ѳемистоклычъ! вы какое вино при устрицахъ потребляете?

— Саблі... а впроемъ, я могу всякое!

— Ну, и намъ подавай саблі, а цѣтомъ и до „всякаго“ доберемся!

Начинается истребленіе устрицъ, подъ гвалтъ общаго гора.

— Я вамъ докладываю: простой армейскій штабсъ-капитанъ былъ! ораторствуетъ какой-то „кадыкъ“:—въ нашемъ городѣ въ квартальные просился—не дали.

— А теперъ третью дорогу строить! отзывается другой „кадыкъ“:—вотъ оно что значить уми-то!

— Да; если цѣловѣкъ съ умомъ... это точно! замѣчаетъ Аристидъ Оемистоклычъ.

Онъ пропустилъ ужъ полсотни устрицъ, и развалился на диванѣ, попыхивая какую-то неслыханной красоты сигару.

— Товарищами были! въ одно время въ полку служили! повѣтствуетъ въ другомъ углу третій „кадыкъ“:—вчерась встрѣчаемся на Невскомъ. Ты что? говорить. Такъ и такъ, говорю, дорожку бы заполучить! Приходи, говорить!

Я вглядываюсь въ горящаго, и вижу, что онъ лжетъ. Быть можетъ, онъ и отъ природы не можетъ не лгать, но въ эту минуту къ его хвостовству видимо примѣшивается расчетъ, что оно подѣйствуетъ на Бубновина. Послѣдній, однакожь, поддается туго: онъ окончательно зажмурилъ глаза, даже слегка похрапываетъ.

— А какая доброта-то! продолжаетъ хвастаться кадыкъ:—такъ-таки просто и говорить: приѣзжай, говорить, я тебя съ женой познакомя, а потомъ и объ дорожкѣ потолкуемъ! Я, говорю, знаю, что твое дѣло вѣрное!

Бубновинъ продолжаетъ похрапывать.

— Шпейдершу бы вотъ попросить, чтобы словечко замолвила! вдругъ предлагаетъ кто-то.

Бубновинъ открываетъ одинъ глазъ, какъ будто хочетъ сказать: насплу хоть что-нибудь путное молнии! Но предложенію не дается дальнѣйшаго развитія, потому что оно, какъ и всѣ другія восклицанія, въ родѣ: вотъ бы! тогда бы! явилось точно такъ же случайно, какъ тѣ мухи, которыя неизвѣстно откуда берутся, прилетаютъ и потомъ опять неизвѣстно куда исчезаютъ.

Съѣдаются первые четыре десятка устрицъ, потомъ съѣдаются еще четыре десятка устрицъ, въ промежуткахъ съѣдаются: два фунта свѣжей икры, фунтъ сыру, фунтъ семги. Выпивается по бутылкѣ шабли на брата, потомъ по бутылкѣ шампанскаго; въ промежуткахъ пробуются разные сорта водокъ. Дымъ синими волнами ходитъ по комнатамъ, такъ что, несмотря на зажженный газъ, почти ничего не видно. И чѣмъ больше выпивается, тѣмъ гуще дѣлается шумъ. Приходятъ новые дѣятели; слышатся вопросы: „рѣшена?“ „аудіенціи-то добился ли, по крайней мѣрѣ?“

и отвѣты: „а чортъ ихъ разберетъ!“, „семь дней хожу и дальше передней—ни-ни!“ Въ пять часовъ мы выходимъ, наконецъ, на воздухъ.

— Гдѣ же дѣльцы-то? спрашиваю я у Прокопа.

— А Бубновинъ!

— Да вѣдь вы съ нимъ даже не говорили!

— Какой вы, батюшка, однако-жь, чудной! развѣ такого человѣка можно сразу! Его надобно еще приучить къ себѣ, чтобы онъ, значить, къ физиономіи-то сначала присмотрѣлся! Разъ скажешь ему: Анемподисту Тимоѣичу! въ другой: Анемподисту Тимоѣичу!—пу, онъ и прислушивается помаленьку. Успѣлъ ты ему понравиться—дѣло въ шляпѣ! Не успѣлъ—домой поѣзжай! и проѣдаться тутъ нечего! Вотъ этотъ баринъ, что про Шнейдершу-то давеча молвилъ — вы видѣди, какъ онъ на него посмотрѣлъ! Да баринъ-то плохъ! Другой бы на его мѣстѣ такъ бы этой Шнейдершей Бубновина раззудилъ, что завтра и по рукамъ бы хлопнули!

— Зачѣмъ же дѣло? воспользуйтесь!

— Я, батюшка, и то ужъ подумываю! Конечно дѣло! завтра же чѣмъ свѣтъ — къ Бубновину! Я ему этотъ прожекторъ во всѣхъ статьяхъ разверну!

Я возвращаюсь въ свой номеръ усталый, ошеломленный, подупыяный; нераздѣтый бросаюсь въ постель и засыпаю тяжелымъ сномъ. Во снѣ мнѣ видится желѣзная дорога отъ Петербурга до самаго устья Печоры. Локомотивъ, пыхтя и свистя, несется въ необозримую даль; болотныя трясины содрожаются, лѣса оглашаются безконечнымъ эхомъ, испуганные звѣри и птицы скрываются куда-то далеко, въ непроглядный мракъ. На поѣздѣ сидитъ жандармъ и какой-то партикулярный молодой человѣкъ. И мчатся эти люди день и ночь, худо спятъ, наскоро закусываютъ, бѣгутъ, спѣшатъ, какъ будто и невѣсть какія пріятства ожидаютъ ихъ на устьѣ Печоры. А съ устья Печоры въ свою очередь тоже мчится поѣздъ, и несется на немъ господинъ Латкинъ съ свѣжею печорскою семгою и кедровой шишкой въ рукахъ, какъ доказательство крайней необходимости дороги въ этотъ кишащій естественными богатствами край. И вдругъ въ Усть-Сысольскѣ ужасное столкновеніе... Раздается трескъ, громъ; я въ ужасѣ мечусь на постелѣ и наконецъ вскакиваю.

Въ комнатѣ темно; въ дверь моего номера дѣйствительно кто-то сильнѣйшимъ образомъ стучить.

Отпираю; влетаетъ Прокопъ.

— Спите, батюшка, спите! говоритъ онъ мнѣ укоризненно: — а я, покуда вы тутъ спите, у Дюссо съ такимъ человѣчкомъ знакомство свелъ!

— Съ какимъ еще человѣчкомъ? спрашиваю я, насили продирая глаза.

— Да ужъ съ такимъ человѣчкомъ, что ежели черезъ недѣлю мое дѣло не будетъ слажено и покончено, назовите меня въ глаза поддецомъ!

Не успѣваю я отвѣтить, какъ влетаютъ разомъ Тертій Семенычъ и Петръ Иванычъ.

— Ну, батюшка, слава Богу! кажется, мое дѣло въ шляпѣ! говоритъ Тертій Семенычъ.

— И меня, я полагаю, черезъ недѣлку поздравить будетъ можно! перебиваетъ его Петръ Иванычъ.

— Ну, а теперь пора и отдохнуть! возглашаетъ Прокопъ:— да что, впрочемъ, не выпить-ли на ночь прощѣную!

Но я рѣшительно отказываюсь, и гости, послѣ долгихъ упрашиваній, расходятся, наконецъ, по нумерамъ.

Я остаюсь одинъ (бьетъ ужъ два часа) и вновь ложусь спать.

Такимъ образомъ продолжается пятнадцать дней. Кромѣ своего номера и устричной залы Елисеева, я ничего не вижу. Я ни разу даже не пообѣдалъ какъ слѣдуетъ. Кромѣ устрицъ, икры, семги—ничего. Горячаго ни-ни! Наконецъ, я чувствую, что ежели это времяпровожденіе продолжится, то я сдѣлаюсь пьяницей. Каждый день, по малой мѣрѣ, три бутылки вина, не считая водки! И это, такъ сказать, натошакъ. Пере-стаю, наконецъ, понимать, кто я и гдѣ я. Въ одно прекрасное утро просыпаюсь, и ничего, положительно ничего не понимаю. Чтѣ? какъ? зачѣмъ? Наконецъ, когда ужъ мнѣ вылили на голову цѣлое ведро холодной воды (я помню, я все кричалъ: лей! лей!)—только тогда я понялъ, что я — я. Подбѣжалъ къ зеркалу, смотрю—глаза налитые, совсѣмъ круглые. Значитъ, дошелъ до точки.

Нѣтъ, надо бѣжать. Но какъ же уѣхать изъ Петербурга, не выдавъ ничего, кромѣ номера гостиницы и устричной залы Елисеева? Вѣдь есть, вѣроятно, что-нибудь и поинтереснѣе. Есть умственное движеніе, есть публицистика, литература, искусство, жизнь. Наконецъ, найдутся старые знакомые, товарищи, которыхъ хотѣлось бы повидать...

Кончено. Я предпринимаю героическое рѣшеніе. Въ одно прекрасное утро, покуда „губернія“ шныритъ по разнымъ концамъ города, я уплачиваю мой счетъ въ Grand Hôtel, и тайкомъ перебираюсь въ скромныя *chambres garnies*, на Гороховой.